

ДЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК

Однажды он понял, что может летать. Подъемная сила приходила извне, не из души, а как пронизывающий ветер всего небесного пространства. Жестокий вихрь поднимал его над домом, над железными скатами крыш, над всеми огнями, над ночью, и сердце падало от страха и как будто уже разбивалось о землю, прежде чем разбивался он весь. Но чем сильнее разгоралась скорость неудержимого падения, тем безжалостнее восходящий поток выталкивал его обратно в высоту, туда, где даже звезды слепнут, теряя друг друга из виду, туда, где не воздух, а твердое, лютее мерзлого железа, вещество, и вселенский сквозняк выдувал мозг костей, и вот уже душа его оголялась на этом ветру, но, цела-невредима, уносилась все выше и пела от чуда непрерывающейся жизни.

Когда же, крикнув сердцем от обмана своей веры, он все-таки срывался вниз, то, страшно соударившись с землей, сей же час просыпался, а вернее, сквозь сон понимал, что пружины кровати поймали его, что ему невозможно исчезнуть из мира, как невозможен и другой он сам.

Когда и как он стал собой, когда и как заговорил, он не знал и не помнил. Быть может, сначала запел, а потом уже заговорил. А запел потому, вероятно, что понял, что требование удобства для себя звучит намного действеннее, если так или иначе согласовано со всею той средой, в которой пребываешь.

Среда эта почти всецело состояла из тепла и света, которые однажды обрели и никогда уж не теряли образ женщины с переменчивым и постоянным, как солнце, лицом, с подстриженными шапочкою волосами цвета мокрого песка и как бы изменявшими свой цвет от настроения серо-зелеными глазами. Порой в них обнаруживалось сходство с сердитыми глазами кошки, но не всякой, а той, что имеет котят. Будто и там, и там, под голой кожей человека и под шерстью, скрывается одно и то же существо, точнее, одна и та же забота. Смеющиеся, радостные, сонные, устало-равнодушные и даже

обозленные, они, казалось, мимо воли стерегли тебя, излучая тревогу и страх одиночества — неизбежного, если тебя потеряют, и что у кошки в выводке было много котят, а ты у матери всего один, означало лишь бóльшую силу вот этого страха.

У нее очень скоро обнаружилось свойство стеснять его, да и прямо вязать по рукам и ногам чрезвычайной опекой, притягивать к себе за шарф ото всякой воды, даже лужи, даже на совершенно ровной поверхности, как если бы его могла схватить и поглотить сама земля, — а также то и дело умирять предупредительными выстрелами глаз, кошачьим шипением, шиканьем, мучительными вздохами и даже щипками — с единственной, похоже, целью привить ему учтивые манеры. Но разве же это могло перекрыть ее всю — в крепдешиновом платье и лаковых лодочках, в переднике, в цветастом кимоно, всплывающую в комнату с дымящейся кастрюлей, полной картофельных очистков, над которыми надо дышать, сидя меж материнских коленей в устроенном из одеяла тесном, жарком чуме, разевая на полную рот и выкуривая злого духа болезни из легких? Разве это могло перекрыть ее руки, которыми, намоченными водкой, она поочередно растирала ему ноги, не успокаиваясь и не уставая, пока он не переставал дрожать от пробирающего холода?

Еще одним неотменимым, пусть и надолго пропадавшим человеком был огромный, тяжелый, черный каперанг — с лицом столь же твердым, сколь было мягким и уступчивым всему лицу материнское.

Других мужских людей, не моряков, первоначально вообще не находилось в мире: весь дом и улица были полны мужчин в черных, как гуталин, долгополых шинелях с двумя рядами желтых пуговиц и в черных же фуражках с лаковыми козырьками и позолоченными «крабами». Отец был первым среди них — не командиром надо всеми этими морскими офицерами, а именно первым. Не потому, что в его облике была таранящая сила ледокола, а морская форма сидела на нем красивее, чем на других, а потому, что всем было известно, кто такой Немухин.

И он, его сын, конечно, тоже был Немухин, кость от кости отца. Что звать его Матвеем, ни для кого, помимо матери и Нюры, не оз-

начало ничего, и только когда его спрашивали, как фамилия, то, услышав ответ, говорили: так вот чей ты сын.

Подводная лодка отца уходила в поход, и они оставались одни. Все находилось в ведении матери и замещавшей ее тетки Ньюры: чугунные сковороды и кастрюли, висящие над газовой плитой, запасы гречневой крупы и крапчатой фасоли, его, Немухина, пальто, ушанка из черного кролика, валенки в непромокаемых калошах, в два слоя вязанные варежки на бельевых резинках, продевающихся в рукава, чтоб ты их, варежки, не потерял в сугробе, вообще все носильные вещи, постельное белье и праздничный фарфор в пропахших пылью и сухими мертвыми цветами недрах огромного буфета, занимавший треть комнаты рояль «Красный Октябрь» и швейная машинка «Зингер», с которыми мать управлялась с одинаковой легкостью — так, что и клавиши, и ручка, и педали, и бешено сшивавшая материю игла становились частями ее самоё, а может быть, напротив, ее руки, приложенные к клавишам или к маховому колесу, отделялись от тела, как будто не они владеют инструментом, а ими овладело непонятное бешенство точности. Отца же не было и много дней, и много недель, и жили они так, словно его и вовсе нет, и даже так, словно отец им и не нужен.

Немухин ползал по ковру, расставляя своих оловянных солдат и матросов, распластывался, замирал, припав ухом к половицам, ощущая их связь со всем деревом в доме и со всеми деревьями в мире, со всей поверхностью земли и со всеми людьми, которые ходят по ней, и со знакомыми, и с незнакомыми, но не с отцом. Земля везде была одна и та же, такая надежная и непрерывная в своей неподвижности, а вот отец ушел с нее. Столь великая масса воды отделяла их всех от отца — не только по поверхности, но и по не дающейся воображению глубине, — что от Немухина, раздавленного ею, не оставалось ничего.

Естественно, он знал, что прочный корпус лодки способен выдержать всю тяжесть океанских течений и что отец умеет вычислить свое место под звездами с меньшей точностью, чем мать — длину стежка на глаз, что воля его сильнее всех людских понятий о возможном и невозможном и что, даже когда его «Щуке» немецкими

минами оторвало гребные винты, он дошел до родимого берега под брезентовым парусом на перископе.

Но большая вода уничтожала это знание, и как ни напрягал Немухин слух — враспи, вкорениться душой в далекую душу отца, окликнуть его сквозь холодную тьму, сквозь молчание рыб подо льдами, — безмерной глухотой давила на него, просачиваясь между сиротливых ребер, словно в проклепанные швы корабельной брони.

В такие минуты ему отчаянно хотелось прилепиться к матери, которая, он видел, и сама не отрывалась от машинки совсем не потому, что надо было что-то залатать или построить, а для того, чтоб сшить разлуку. И он и сам не замечал, как начинает петь внутри себя, напряженным гудением доводя до неистовства поршни в цилиндрах воображаемого дизельного двигателя и возгоня в своем сердце такую вызволяющую силу, что перед ней не устоят даже ледовое безмолвие и воцарившаяся в мире раньше времени ночь.

А потом был звонок — телефонный ли, в дверь ли, — и он, опережая мать, кидался открывать, и вся квартира заполнялась морскими офицерами, детьми их и женами в синих горошковых и затканых цветами платьях, составлялись столы и ложилась на них безупречная скатерть, выставлялся из горки хрусталь и тарелки расписного фарфора, и отец двумя пальцами выкручивал засевавший намертво шуруп из прижимной скобы на трехлитровой банке с яблочным компотом, заводя всю их жизнь, как часы.

Ему, конечно же, хотелось встречать отца на берегу, и так же сильно — провожать в поход, и тот самый день, когда мать первый раз взяла его с собою к морю, вместил в себя неизмеримо больше, чем вся предыдущая жизнь.

Вначале он увидел железную дорогу. Холодным светом отливающие рельсы, промазанные дегтем шпалы и бетонные столбы, словно обязанные своим существованием друг другу, объединенные в непроницаемое братство, в котором состояли и натянутые меж столбами провода, полосатые стрелы шлагбаумов и семафоры, похожие в анфас на воткнутые в землю черенками штыковые лопаты, а в профиль — на скворечники с тремя окозыренными отверстиями.

Провода терпеливо таили в себе трепетание звука, и внимательный воздух над пустыми путями непогрешимо доносил до слуха

паутинно-тонкий звон никак не разъяснимого происхождения. И вот из-за края обозримого мира, где зарождался этот тихий, будто сам себя остерегающийся звон, оттуда, где небо смыкалось с землей и рельсы сходились друг с другом, пришел взволнованный гудок, и там, вдали, на самой грани видимого, показался поезд. Он будто и вовсе не двигался, медлительный, как спирт в термометре, не пересекший ни единого деления шкалы, и — не успел Немухин задохнуться ветром и восторгом — сокрушил все его существо ураганным налетом, но и немедленно пристрочил к земле остервенелым дробным грохотом, иначе бы Немухин, наверное, и вправду улетел.

Машина, которая может работать сама по себе — без людей, непрерывно и вечно. Закопченные грани вечной красной звезды и поступательная мощь локомотива с неумолимыми толчками и кивками колесных рычагов. У каждой железной детали свой голос. Названий он еще не знал, а голосá, столь удивительно несхожие между собой и поразительно согласные друг с другом, уже были. Состав уже пропал из виду, а его громовое железо продолжало звучать в голове, и время и летело, и не двигалось, пока не отмерли в Немухине все корни столь глубоко прижившегося грохота.

Железная дорога привела в пространство таинственно-умного хаоса: расходящихся в разные стороны, как по чертежному лекалу, изгибающихся рельсов, изветренных серых пакгаузов, несметных ящичков с неведомо что означающими буквами и цифрами на дощатых боках, вагонов, цистерн, канатных сетей, решетчатых жирафов-великанов. Необозримое пространство порта скрежетало цепями и выло сиренами, а оттуда, куда они с матерью шли, накатывал как будто шум несметных крыльев, размахом каждое в полнеба.

На пути у них встала ветровая стена, и он почувствовал свой истинный размер, а заодно и всей земли, на которой застыл среди других, таких же маленьких людей.

Он давно уже знал многих женщин и их тепло укутанных детей в молчаливой толпе провожающих, но лица у всех были новые — и не только от ветра и холода.

Он увидел оркестр моряков — тоже маленьких, несмотря на их рост и широкие плечи, с упрятанными в черные воротники носами

и красными, замерзшими руками. Они определенно были обречены на поражение, но верили в необходимость сражаться с захлестывающим, неумолимо постоянным ветром, со всем этим безжизненным пространством, безмерность которого — гибель для звука.

Он увидел построенный на берегу экипаж и огромную черную лодку, которая, омытая волнами с перехлестом, казалась не громадой вороненого железа, а живорожденным чудовищем, передвигающимся силою своих плавников. Наконец он увидел отца — в такой же, как у всех, штормовке с расстегивающимся меховым капюшоном, тот двигался так, словно ему и было предназначено разделить всех людей на тех, кто останется здесь, на земле, и тех, кто погрузится вместе с ним под воду.

Отец не замечал их с матерью — не потому, что не смотрел в их сторону, а потому, что уже, кажется, смотрел сквозь них, как человек, которого здесь нет, — но вдруг его карие песьи глаза остановились на Немухине со странным выражением, похожим на презрение, точно отец не мог поверить, что это и есть его сын. Но то было, конечно, не презрение, а как когда не хочешь уходить, но не можешь остаться.

Пришли два старших офицера — и отец рапортовал им с дерзкой холодностью уходящего в море. Оркестр заиграл «Марш подводников» — так слабо и нечисто, с такими срывами на обрекающее карканье ворон, но и с таким упорством крохотного человеческого тепла перед лицом большого холода, что Немухин заплакал от беспомощной нежности к музыке.

Загροхотали сходни под ногами моряков, исчезающих в люках, и вот на выпуклой спине подлодки не осталось никого, и наглухо задраенная черная громада неуловимо ожила, просто слишком большая, чтобы движение ее стало заметно глазу в первую минуту. Утюг, разглаживающий простыню в отсутствие руки хозяйки, — вот как она пошла, и долгое гладкое тело ее все тянулось у Немухина перед глазами, пока не стало видно беглую клокочущую борозду кильватерного следа. Вода за великанской бабочкой хвостовых лопастей закипала, но сколько бы ни было взбито тонн белой пены за кормой, след этот простывал, как не было. И лодка делалась все меньше, пока не превратилась в еле различимую, уже и не черную, а серую точку,

и он так и не понял, погрузилась ли лодка под воду или же просто растворилась в пустоте.

Ему не хотелось никуда уходить — и будто бы уже не из надежды различить на горизонте хоть какой-то знак отцовского присутствия, а он и сам не понимал, зачем продолжает стоять на огромном ветру. Что можно найти в пустынном наступлении воды на волнолом или в бегстве ее к берегам непроглядно далекого, быть может, вообще не существующего мира.

Тяжелая вода, ее пустая бесконечность ничего не давала ни взгляду, ни слуху, кроме освобождения ото всего, что знаешь о самом себе, от мыслей об отце, о том, как долго им теперь придется его ждать.

Море пело о собственном времени, в котором нет ни «долго», ни «давно», ни «завтра», ни «вчера», ни дней, ни миллионов лет, и в неподъемном его гуле не было ни жалобы, ни жалости — ни к морякам вдали за горизонтом, ни к их женам и детям, оставшимся на берегу.

Оно никому не сочувствовало, но в пении его была неизъяснимая безысходная грусть, так как нет одиночества большего, чем одиночество глухонемого. Однообразными катками своих волн оно гасило и смывало все другие звуки: и корабельные гудки, и скрежет якорных цепей, и крики птиц, — но никого не унижало, потому что равняло с собой, по себе. Оно в одно и то же время леденило душу и подавляло страх замерзнуть, вмуровывая Немухина в свой шум, как в камень, непроницаемая холодность которого — его обыкновенное и, в сущности, единственное состояние.

Не помня даже собственного имени, он и немел, и глохнул, но в неумолчном мерном шуме, уже не отличимом от совершенной тишины, вдруг начиналось самонарождение других, берущихся неведомо откуда голосов — сначала одного, потом второго, третьего и вот уже несметных шорохов и вздохов, как будто отщеплявшихся от ровного плеска воды и даже от безмолвия холодного, всегда пустого неба, и каждый вздох и шорох был подобен предыдущему и следующему, как волны прибоя друг другу, и каждый был неслыхан и неповторим, как в море волн не может быть и двух до капли одинаковых.

Идя домой, он думал об отце. Мало того, что подводная лодка подобна исполинскому киту, но и сам человек под водой может быть только рыбой. То есть должен научиться видеть, слышать, чувствовать, как рыба. Ведь рыбы живут без света, а если и видят хоть какой-нибудь свет, то недалеко и неглубоко. Однако откуда-то знают, где их, рыбий, корм, и как им уплыть от сетей, гарпуна и крупного хищника. Выходит, всё слышат. Хотя и говорится «от селедки ухо», это не означает, что у рыб нет ушей, ведь и у людей наружу выступает одна раковина, а лабиринт уходит глубоко под кость. А может, рыбы слышат всеми нервами, самым своим хребтом — той длинной толстой ниткой, которую Нюра вытягивает из распластанной тушки вместе со всеми потрохами. Да и как бы там ни было всё у них, пучеглазых, устроенно, в подводной тьме они ориентируются не хуже, чем птицы в своем воздушном океане. Вопрос: каково человеку, чье зрение, как бритвой, обрезано поверхностью воды, то есть ограничено длиной перископа. Чем глубже погружаешься под воду, тем непроглядней, беспросветней окружающая ночь, ее неведомо что означающая и предвещающая тишина. Которая уж если и поет, то — так же оглушительно и даже много тяжелей, чем море на поверхности, грохочущими глыбами, скрежещущими льдами заваливая все твои слуховые проходы, раскалывая череп и раздавливая мозг, уничтожая все начатки и остатки разума. Что там таится и крадется, в потусторонней темноте? Где твой враг? Где спасение? Что там можно понять вообще? Что — на слух угадать? Ничего — или всё?

Подумать дико — вечность жить в глухонемой вселенной. Никого не услышать, никого не позвать: «Спасите наши души». Как будто прокляли тебя вот этим одиночеством. Вот вроде бы и нет в воде другого смысла, кроме того, что без нее жизнь невозможна: одним в ней надо плавать, а другим — ее пить. Но ведь она и впрямь живая — не только потому, что утоляет жажду, но и потому, что звучит. Как время само, которое течет, проходит сквозь тебя. И если бы она, вода, молчала или сам он, Немухин, родился глухим, то, может, никогда бы и не понял, что такое время, его начало и конец.

Глаза его, конечно, видели предметы и события, но ведь ни об одной из видимых вещей нельзя сказать, когда она сдвинется с ме-

ста, когда она возникла и когда исчезнет. Нельзя сказать о птице, когда она снимется с ветки, и о человеке — когда он подымется с лавки. А звуки сразу говорили о своем отношении ко всему неподвижному: к небу, к земле или к морю, которое при всей своей поверхностной изменчивости было таким же постоянным, как и небо. Звук, собственно, и происходит от трения разных вещей друг о друга, и вот когда вещь останавливается или стирается о что-то постоянно неподвижное, тогда и приходит конец ее времени.

Он понял, что люди затем и производят звуки, чтобы слышать движение времени, вернее же — свое движение во времени и вместе со временем. Чтоб каждую минуту точно знать, сколько у них осталось времени, чтоб постоянно помнить и оповещать друг друга о близости важных событий, а еще для того, чтоб раскрашивать время на свой человеческий лад, ибо время само по себе — как эта серая вдали, прозрачная в руках холодная вода, на всем своем вечном и бесконечном протяжении одно и то же, не доброе, не злое и, если убрать человека, — пустое.

Тревожное, торжественное, праздничное, дневное, ночное, военное, мирное — любое человеческое время можно было объявить гудком или ударом в корабельный колокол. «Свистать всех наверх!», «Полундра!», «Человек за бортом!» Деления на циферблате часов — зарубки на времени, подобные тем ножевым, какими отец отмечает его, Матвея, прибавление в росте на дверном косяке. Понятные засечки, которые, однако, ничего не говорят о том, каким ты был до этой вот отметки и каким стал за ней. Понятно, что сделался выше и даже сильнее, но вот насколько ближе к тому, чтобы все понимать, неизвестно. Не говоря уже о тайне, где ты был, когда здесь, на земле, тебя еще не было, и будет ли такое время, когда тебя опять не станет, и где ты будешь, когда здесь тебя не будет. А вот каждый звук, казалось, прямо сообщал ему не передаваемую никакими словами, никем из взрослых и не знаемую тайну общей жизни. Да нет, совсем не каждый звук — есть многие звуки, которые, наоборот, только мешают. И так ли уж необходимо людям измерять свое время и не могли бы они все хотя бы на день замолчать? Вот, скажем, птицы и деревья о времени не думают и даже будто ничего о нем не знают. Из года в год для них

все повторяется: зима, весна, лето... время сбрасывать листья и время снова покрываться ими, время перелетать над великим, не помещающимся в ум пространством северной ледовитой воды и время возвращаться в этот город. Получается, время деревьев и птиц никуда не уходит, в то время как время людей отстает, спешит, убегает и даже кончается, хотя вообразить конец не просто определенного периода, не часа, не дня, не зимы, не долгого отцовского похода, а вообще всего земного времени, всей жизни ему как раз не удавалось — как навсегда исчезнувшее море, как песочные часы, которые некому перевернуть.

Сперва он и не знал, что такое зима, а может быть, наоборот, не представлял, что есть, бывает, будет какое-то другое состояние природы, ибо зима была вначале, с того самого дня, когда он, Немухин, почувствовал и осознал себя единой живой непрерывностью, — такая долгая зима, а вместе с ней и ночь, что нельзя было вообразить им конца, никакой перемены.

Уже и не скажешь, что было сперва — зима или лето, полярная ночь или день. Не то дни становились все тесней и короче, пока от световой полоски между двух сомкнувшихся ночей не осталось ни щелки, не то, наоборот, в существовавшей прежде времени ночи однажды вдруг забрезжил тихий свет.

Немухин склонялся к последнему. Он помнил, как скучал под бесконечным грузом неба, подобного земле, в которую тебя зарыли раньше, чем первый раз открыл глаза, и вдруг из тяжелой, глухой темноты возникли первые белесые пылинки, надолго замирающие на лету и, верно, слишком легкие, чтобы земля могла их притянуть, как будто чешуйки кострового пепла, но в то же время и частицы света, обреченные погаснуть, быть растертыми ветром в ничто, потому что и были почти что ничем: даже прикосновение пальцем означало их гибель. И тем бесконечнее было его удивление, когда в горячую ладонь лег невредимый крохотный кристалл и он, Немухин, разглядел его лучи и грани.

Снег пал на землю, на асфальт, на скаты крыш, в развилки веток, и обнаружилось, что даже в этом, извека и вовек лишенном солнца мире может быть светло. А главное — будто бы ни от чего, настолько же нипочему и ниоткуда, насколько не ясно, откуда ты сам.